

такой ее участник, который заявлял о неприемлемости для «русского менталитета» ценностей, в основном – западных, которые в него пытаются привнести вместе с идеями демократии и рынка из иных культур. То есть в дискуссиях имеет место прямая апелляция к культурному фактору, который исключает или затрудняет преобразования определенного рода при движении в избранном направлении. Какие же именно свойственные русской культуре элементы, если таковые имеются, мешают трансформации общества в его движении к демократии и рынку? И, напротив, имеются ли в ней, культуре, такие составляющие, которые такому переходу способствуют и на которых следует делать акцент? А если таковых нет, то могут ли они быть привнесены извне?

Прежде чем отвечать на поставленные вопросы, я предложил бы согласиться со следующим адекватным для нашей темы определением культуры. Культура – это совокупность смыслов, ценностей, представлений и установок, разделяемых членами общества. Она формируется общественной средой, религией и общей историей и передается от поколения к поколению посредством воспитания детей, религиозных практик, системы образования, средств массовой информации и отношений между людьми.

Важно также понимать, что то первоначальное, что требуется при подготовке к рассмотрению вопроса об изменении (переструктурировании) культуры, есть четкое понимание того, что сама нация, признавая определенное несовершенство своей экономической и культурной жизни, должна настраиваться на позитивные перемены, т.е. относиться к ним не агрессивно-негативистски, а творчески-конструктивно, ориентируясь не на вопрос «Кто виноват?», а на вопрос «Что мы сделали не так и как неправильное переделать?». Без этого вызревшего в обществе понимания необходимости перемен никакие серьезные изменения невозможны.

Ориентируясь на «конструктивный» вопрос, попробую выделить в русской культуре те негативные элементы, которые, как мне кажется, в ней имеются и которые препятствуют желаемым переменам. Обратившись к результатам исследований, проведенным специалистами по развитию ООН во многих странах мира в течение нескольких лет², мы можем из ряда выделенных ими явлений обратить внимание на те, которые имеют место и в российской действительности.

² См., например, книгу *Л.Харрисона* «Главная истина либерализма» (М., 2008).

тельности. В первую очередь это явления, генетически связанные с крепостным правом – российским рабством, отмененным менее ста пятидесяти лет назад, а также с наследием недавнего советского прошлого, бывшего, согласно народной расшифровке аббревиатуры ВКП(б), – «вторым крепостным правом большевиков».

По своим историческим последствиям рабство пагубно тем, что формирует у людей психологию зависимости, развивает пренебрежение к труду, ориентирует на прошлое и настоящее, но игнорирует будущее. В результате общество оказывается склонным к воспроизведению архаичной централизованной, авторитарной, коррумпированной системы правления, а его культура начинает характеризоваться рядом негативных черт. Среди них, прежде всего, низкий уровень уважения людей друг к другу, сокращение «радиуса доверия» до лиц ближайшего круга. Складывается и начинает признаваться за норму крайняя неравномерность в распределении богатства. Люди привыкают думать о себе как о зависимых от произвола властей. В их сознании укрепляется вера в то, что успех приходит не в результате длительных и систематических усилий, которые может предпринять каждый, а как результат сочетания удачи и коварства, что выпадает на долю далеко не всякого и чем всякий, если он «умный», непременно воспользуется. Приучаясь жить в условиях несвободы, люди привыкают к социальной безответственности, начинают считать нормой коррупцию и nepoтизм. Привычка к пассивному отлыниванию от труда подкрепляется абсурдной идеей престижности праздной жизни, в которой нет связи между «словом» и «делом», равно как пунктуальности и ответственности. Неуважение к закону становится повсеместным, нередко переходя в свое продолжение – насилие. Во всех неудачах винят кого угодно, но только не самих себя.

В свою очередь, на почве этих «культурных ценностей» произрастают национализм (на первое место ставящий «своих», свое с ними «кровное родство» и «общее местообитание»), популизм (включая перераспределение богатств до того, как они созданы), этатизм (право и готовность государства делать в экономике больше, чем оно может, а в социальной сфере – меньше, чем обязано) и протекционизм (наказывает потребителей и не требует эффективности от производителей). Свою лепту в эту «культурную среду» вносит и отечественное православие с его воинствующей нетерпимостью

к иным, прежде всего западным ветвям христианства и гибким моральным кодексом («грех» – «раскаяние» – «покаяние» – «отпущение грехов» – «новый грех»). Впрочем, ко многим усилиям церкви население в массе своей относится безразлично, удивительным образом сочетая веру в Христа с верованиями в магию и колдовство.

Вместе с тем ситуация с культурой как совокупностью высоких смыслов, ценностей, представлений и установок в России специфична в сравнении с другими странами. Действительно, сама по себе отечественная культура, начиная с Радищева, Фонвизина и Грибоедова, являет собой огромное богатство, которое могло бы одухотворить не одну нацию. Однако для большинства россиян по их небрежению, лени и нелюбопытству оно, как сказочный город Китеж, остается невидимым. Многие смыслы и ценности, глубоко продуманные и сформулированные именно русской культурой еще в начале XIX столетия, с тех пор не востребованы или же отодвинуты на задний план. Так, воспетая Пушкиным ценность человеческого достоинства (повести «Капитанская дочка», «Дубровский», «Дуэль») сегодня вряд ли стоит в первом ряду. То же можно сказать и об основополагающем смысле человеческого общежития: человек не может быть средством, но всегда – лишь целью для другого человека (рассказ «Пиковая дама»). Были мало востребованы и выработанные Тургеневым, Гончаровым и Толстым именно для «народного употребления» ценности и смыслы «природности» русского человека, дома и хозяйства, дела и надеяния, жизни и смерти, живого и мертвого. Вне поля внимания остались лесковские идеи о нравственной пагубности любого насилия, пусть даже совершаемого для справедливого возмездия или ради великой и благородной идеи. Вместе с тем в сознании прочно закрепилось вдавненное катком советской пропаганды оправдание революционного насилия и террора, допустимости использования любых средств ради великой цели.

Богатое, но не востребованное наследие, извращения советской пропаганды и высокая степень нынешнего равнодушия к ценностям и смыслам культуры делают актуальным поиск ответа на вопрос – на какие именно смыслы, ценности, представления и установки должны быть заменены те, которые нуждаются в замене? Так же прагматически существенна и тема об адресате трансляции культуры. А за ней возникает вопрос о технологии замены одних элементов культуры другими.

Конечно, работа по «инвентаризации» смыслов и ценностей, которыми мы в основном руководствуемся сегодня и об их эффективности при намеченном переходе к новому общественному строю жизни, огромна и должна выполняться специально. При этом важно помнить, что национальное самосознание обладает своеобразной гордостью и просто «заменить» в нем одно другим бывает очень сложно. Гораздо легче, если в такой политической инициативе присутствует хотя бы элемент преемственности, есть возможность опоры на прошлое, в том числе – на сформулированные ранее позитивные отечественные смыслы и ценности. И таковые в русской культуре безусловно есть. Это, например, ценность созидательного труда. Так, обращаясь к хрестоматийному примеру, не стоит все внимание акцентировать на мировоззрении «недеяния», исповедуемом Ильей Ильичем Обломовым и при этом рисовать его друга Андрея Штольца «предприимчивым дельцом». Заметим, что у самого Гончарова таких красок в портрете Штольца нет. Штолец – антипод Обломова лишь в деятельности. В том же, что касается порядочности, души и сердца, – они братья. Иначе не понятно, во-первых, почему Илья Ильич так любит Андрея Ивановича и, во-вторых, как его могла полюбить Ольга Ильинская. Изображение Штольца в качестве беса делячества – результат идеологической работы советского литературоведения, для которого истинно положительным героем мог быть только ниспровергатель-революционер.

В этом же ключе нам «преподнесен» и тургеневский Евгений Базаров. А ведь мысль романа состояла в том, что настоящим нигилистом оказывается российская действительность, в которой нет места для профессионала и неутомимого трудоголика: герой гибнет от яда мужицкого трупа.

По-иному видятся и чеховские персонажи – доктор Астров, предприниматель Лопухин, герой повести «Моя жизнь» Мисаил Полознев и другие. Каждодневное будничное дело – истинная ценность и явление, которое должно появиться и появляется в российской действительности и к которому вынуждено приспособляться российское общество.

Не менее, чем содержание, существенен и вопрос об адресате – на кого следует ориентироваться: на весь народ или на его элиту? Думаю, специальная селекция была бы не уместна.

Культура – открытое для всех богатство и право каждого желающего пользоваться им. И, возвращаясь к обозначенной в начале текста теме «военного руководства» российским обществом, добавлю следующее. Принадлежность людей к определенному сословию, безусловно, не должна быть «пропуском» или «клеймом». Дело в готовности каждого к жизни по цивилизационным нормам и правилам, в признании верховенства закона и стандартов культуры. А вот то, что в зависимости от состояния общества, от избранных им ориентиров и определенных целей требуется выборочная активизация и, напротив, торможение определенных ценностей, смыслов, представлений и установок в системе культуры, должно быть рассматриваемо как необходимая технология общественного развития, технология реформатирования культуры.

Кризисы национальной идентичности в истории России

В наборе представлений каждого народа, в составе его общественного сознания существует смысловой сгусток, некое ядро, которое отвечает за самоопределение этого народа в истории и культуре. Это – национальное самосознание, т.е. представления народа, нации о собственной идентичности.

В рассуждениях о национальном самосознании русского (российского) народа замечено, что, с одной стороны, существуют некие константы самосознания, позволяющие нам выстраивать линию преемственности всех эпох существования России. Однако наряду с этой преемственностью имеет место другой очевидный факт – прерывистость отечественной истории. Россия по меньшей мере дважды в своей официальной истории начинала жизнь «с нуля». Первый раз – в эпоху реформ Петра Великого, который в русском официозе считался чуть ли не основоположником, родителем исторической России. Второй раз – с началом большевистского правления, когда явно или неявно предполагалось следование ключевому тезису другого основоположника – Маркса – о делении человеческой истории на «предысторию» и «собственно историю», начинающуюся с момента захвата пролетариатом политической власти.

Могут возразить, что подобные «скачки» в национальной истории (и, соответственно, в национальном самосознании) бывали и у других народов. Можно вспомнить, к примеру, Францию периода якобинской диктатуры, когда Робеспьер ввел культ Верховного божества и – параллельно – вообще новое летоисчисление, символи-

чески подчеркивая начало принципиально новой истории. Но ведь надо признать и то, что даже в среде коллег-радикалов Робеспьер «за глаза» признавался полусумасшедшим; его быстро скрутили и гильотинировали, и сами его историоборческие эксперименты были признаны вывихами генеральной линии.

То же самое и с гитлеровской Германией: разговоры о наступлении «тысячелетнего третьего рейха» были восприняты обществом скорее как право фюрера и его окружения немного почудить, но не проникли сколько-нибудь глубоко в толщу национального самосознания. Поэтому-то немецкой нации и удалось быстро отказаться от поверхностной новой мифологии и даже коллективно покаяться. Сейчас в Германии о тех идеях неприлично вспоминать как о серьезных тенденциях и даже фактах национального самосознания.

В России так сделать не удастся и, по-видимому, не удастся. И петровская, и большевистская эпохи неудалимы из нашей истории, как и из истории нашего сознания. Это не отклонения, а скорее некое инобытие чего-то более глубинного, реинкарнации одного и того же типа социума и его самоосмысления. Это не чудачества правителей, со временем забываемые народом, а эманации собственно народной, национальной истории.

И тут мы подходим вплотную к нашей главной теме: как же соотносятся эволюционные и революционные моменты в развитии национального самосознания? Тема эта – классическая в русской историософии двадцатого столетия. Особый вклад в ее осмысление внесли два выдающихся русских мыслителя – Николай Александрович Бердяев и Федор Августович Степун.

Что касается Бердяева, речь надо вести об очень большом корпусе историософских текстов, начиная с «Души России» (1914) и политико-философской публицистики первых послереволюционных лет – и вплоть до «Истоков и смысла русского коммунизма» и сравнительно поздней «Русской идеи». Представляется, что между этими текстами нет тех принципиальных противоречий, которые иногда усматриваются, и можно вычленивать некий инвариант бердяевского взгляда на Россию, который подчас варьируется в соответствии с текущими приоритетами автора или характером аудитории.

Согласно Бердяеву, «душа» каждого исторического народа в своей сущности антиномична. В этом смысле базовая антиномия русской души – это двуединство нигилизма (отрицания) и апока-

липтики (стремления к конечному). Поэтому периодическое отрицание собственной истории и стремление к очередной «конечной правде» – это не исторические случайности, а проявления имманентностей русского национального характера. Равным образом, по Бердяеву, в самосознании каждого народа (в русском характере это предстает особенно наглядно) неразрывно сосуществуют две стороны – консервативная (для спокойных периодов эволюции) и революционная. В известной статье «Духи русской революции» (1918), написанной по свежим следам большевистского переворота, Бердяев написал: «Нелегко улавливается связь нашего настоящего с нашим прошлым... При поверхностном взгляде кажется, что в России произошел небывалый по радикализму переворот. Но более углубленное и проникновенное познание должно открыть в России революционный образ старой России... Многое старое, давно знакомое является лишь в новом обличье... Каждый народ имеет свой стиль революционный и свой стиль консервативный... Каждый народ делает революцию с тем духовным багажом, который накопил в своем прошлом... Революции, происходящие на поверхности жизни, ничего существенного никогда не меняют и не открывают, они лишь обнаруживают болезни, таившиеся внутри народного организма, по-новому переставляют все те же элементы и являют старые образы в новых одеяниях...» и т.д.

Согласно Бердяеву, жесткое государственничество, с одной стороны, и анархизм, с другой, – это две стороны одного и того же русского характера. В стабильные периоды господствует охранительное государственничество, но наступает время и национальный кровоток приливает к противоположному полюсу, – и тогда наступает торжество анархизма, которое принято называть «революцией», но которое вовсе не отрицает констант национальной идентичности, а является ее, скрытой до времени, оборотной стороной.

В концепции Бердяева, чрезвычайно плодотворной и не до конца оцененной, остается, однако, не вполне ясным нечто принципиально важное: каким образом, в силу каких причин и механизмов происходит переход от стабильности (иногда – застойности) к бурной динамике, от эволюционных процессов – к революционным. Отметим дополнительно, что здесь нас интересует не весь комплекс проблематики генезиса революции как таковой, а лишь один ее (но чрезвычайно существенный) аспект – метаморфозы, а

затем и радикальные изменения в общественном, национальном самосознании, смена эволюционных процессов – революционными. И здесь имеет смысл обратиться к работам еще одного крупнейшего русского мыслителя – Федора Степуна.

В ряде эмигрантских работ, написанных в межвоенный период (и прежде всего в знаменитом цикле «Мыслей о России»), Степун творчески развил бердяевскую концепцию об «оборотничестве русской души», – оборотничестве, порожденном ее (души) феноменальной «артистической даровитостью» и даже «гениальным мимизмом» (термины Степуна). «В русской душе есть целый ряд свойств, – писал, в частности, Степун, – благодаря которым она с легкостью, быть может несвойственной другим европейским народам, становится, сама иной раз того не зная, игрищем темных оборотнически-провокационных сил».

Одной из важнейших сторон этого периодического «перерождения» национальной души Степун считал коллизии, возникающие в сфере общественного сознания – а именно, метаморфозы перерождения общественных «идей» в классовые «идеологии». Действительно, плюрализм и конкуренция «идей» – это неустрашимое свойство любого цивилизованного сообщества, и не только не ведет к его деструкции, но, в известном смысле, держит его в тонусе и тем самым укрепляет. Опасен механизм мутации конкурентных идей во враждующие идеологии, что чаще всего происходит в переходные эпохи. Вот главная мысль Степуна: «Пока классы – держатели старых ценностей, классы – хранители старых форм культуры и восходящие к власти новые классы борются друг с другом лишь за разные воплощения общего им духовного содержания, до тех пор революции, в точном и узком смысле этого слова, быть не может. С момента же, в котором борьба из-за форм культуры накаляется до того, что раскалывается надвое единство национального сознания – революция уже налицо, иногда задолго до баррикад и казней».

Федор Степун достаточно подробно описывает этот процесс мутации российского национального сознания на примере спора отечественных «западников» и «самобытников» – спора сначала конструктивного и плодотворного, но со временем деградировавшего и ставшего губительным для российской культуры: «Славянофилы и западники расходятся в разные стороны. Первые

окончательно выходят из рядов оппозиционно настроенной, анти-правительственной общественности. Вторые окончательно отрываются от религиозных и национальных корней славянофильского мирозерцания. Результат этого двустороннего отрыва – вырождение обеих лагерей русской общественности. Вырождение свободолобивого славянофильства Киреевского в сановнически-реакционное славянофильство Победоносцева. Вырождение верующего свободолубия западника Герцена в лжерелигиозный героизм революционной интеллигенции».

Уверен: дальнейшее изучение теоретического наследия русской философии и политологии (в значительной мере, ставшего результатом поисков русской послереволюционной эмиграции) способно серьезно помочь современному российскому обществу достойно ответить на новые вызовы, перед которыми оказалась Россия на рубеже нового тысячелетия.